

ИНГА ШЕПЕЛЁВА

БЕЛЫЙ ПАРОХОД

красная песня на белом снегу

СЕАНС

Инга Шепелёва
Белый пароход

«СЕАНС»

2025

УДК 82-293.7
ББК 85.374(2)

Шепелёва И. В.

Белый пароход / И. В. Шепелёва — «СЕАНС», 2025

ISBN 978-5-6052038-4-1

По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Надворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее. В книгу вошел сценарий кинокартины Инги Шепелёвой «Белый пароход», а также одноименная повесть, легшая в его основу. Издание проиллюстрировано кадрами из фильма.

УДК 82-293.7

ББК 85.374(2)

ISBN 978-5-6052038-4-1

© Шепелёва И. В., 2025

© СЕАНС, 2025

Содержание

От автора	8
Белый пароход	9
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Инга Викторовна Шепелёва

Белый пароход





© 2025 Инга Шепелёва
© 2025 Мимесис

© 2025 Открытие
© 2025 Сайдам Барыл
© 2025 Лимитлесс
© 2025 Кинопрайм
© 2025 Сеанс

От автора

Я придумала историю о женщине, которая повторяет одну и ту же мелодию, очень давно, мне был двадцать один год. И с тех пор я бесконечно повторяю эту историю про повторение, но, повторяя, я понимаю, что ничего не остается таким же, одинаковым. Все меняется. Повесть, написанная тогда же, очень давно, когда еще свежи были воспоминания детства о родной музыкальной школе, о родном Севере, где не разлепить заледеневших рук, не оторвать глаз от тумана, не выдержать тоски места, в котором невозможно жить, но живут, любят, называют, воспевают, выбирают – люди.

Сценарий, написанный по мотивам повести, но совсем на нее не похожий, робко ищущий выход из литературного текста, переводящий сам себя на язык кино, расширяющий пространство из повести в фильм, ищущий знаки, изо всех сил желая остаться поэтическим, повествовательным, нарративным. И фильм, разбивший все на множество разноцветных осколков и собравший вновь – повторяя, но не повторяясь, фильм жестокий, нежный, как холодный молоток. Все мечты сценария в фильме разбились о лед, и тогда на их месте появилась поэзия, потому что, повторяя, мы называем, разбивая, мы создаем.

Робер Брессон писал, что фильм рождается и умирает трижды – на этапе сценария, съемок и монтажа. Мой фильм родился и умер четырежды – потому что еще родилась и умерла повесть, проза, литературный текст, на его последнем выдохе, на его отражении, на чувстве, что бывает, только когда что-то уходит, – родился фильм.

Белый пароход

повесть

Север не противится снегу, не удивляется зиме, но тот год будет навсегда занесен в историю города как год самых суровых морозов, непроходимых снегов, непроглядных туманов. Город, будто залакированный, весь покрылся льдом и едва дышал, скованный, как в тугом корсете. Это было время, когда проходит оцепенение, хвоя уже начала осыпаться с ветвей елей в домах и квартирах, новогодние праздники закончились и наступило первое утро, первое раннее пробуждение, удивление, сонные танцы на льду дорог. Крыльцо тоже было во льду, да еще сверху запорошено сухим и подвижным слоем снега. И рано утром, когда учителя и другие работники поднимались на это крыльцо, было бы очень смешно, как они падали, крутятся в своих тяжелых шубах. Но смеяться было некому – дети еще спали, и одна утренняя мгла стояла вокруг, едва пропуская сквозь свое застывшее молоко фонарный свет. Тогда открывалась музыкальная школа.

Немного позже Марта Георгиевна раздвигала пыльные занавески в своем кабинете, впуская медленное солнце, чтобы оно холодноватым лучом коснулось подоконника, сочных стрел алоэ в потрескавшемся глиняном горшке, скользнуло по стареющему ее лицу и уперлось в пианино, покрытое плотным блестящим лаком, как льдом. Марта Георгиевна стучала ногтем по крышке заледенелого пианино и молчала, будто заледенелая была сама, едва живая, откуда-то вышедшая, неизвестно откуда. Она ждала учеников, посматривала на ручные часики, будто бы оживлялась, о чем-то вспомнив, но тотчас же каменела снова. На столе лежала шариковая ручка, у стола сидела Марта Георгиевна, прямая, со склоненной набок головою, выгнув шею, упершись остановившимся взглядом туда, куда в молчании смотрел луч солнца из замерзшего окна, – в полированный бок коричневого фортепиано, с навеки задержавшим дыхание деревом под толстым слоем лака, и на нем отражение – светлый квадратик окна с желтыми занавесками, громадными стрелами алоэ и темным силуэтом, замершим у стола, – Марта Георгиевна ждет учеников, отражаясь в пианино.

После открытия проходит немного времени, и учителя, раскрывая занавески в выставших за каникулы кабинетах, могут видеть, как бегут по площади маленькие человечки, минуя ватные клумбы уснувших цветов и памятник в белой шапке, выпуская пар из хохочущих ртов, укутанные в белые кроличьи и черные мутоновые шубы, разлетаются по прямой поверхности площади, как клавиши пианино в игривой польке. Они тоже скользят по мраморному крыльцу и падают, взметая легкий искрящийся снег, они смеются, и кричат, и тянут друг другу руки в сползающих рукавицах.

Марта Георгиевна видит, как тяжелые стеклянные двери впускают первых учеников, и различает среди них свою девочку, Наташу, первую сегодняшнюю ученицу. Она проводит рукой по темной юбке, достает из сумки очки в футляре, включает свет – лампы дневного освещения трещат и мигают, зажигаясь то голубым, то розовым, опять мутнеют и горят потом лимонно, магово, дрожаще, совсем ненужно в холодном утреннем свете. Они горят строго, ненужно, как первое занятие после зимних каникул. Им нужно увидеть все в Наташе – как смеялась с набитым ртом, как щеки раздувались от мандарина, который она на спор жевала целиком, как наклонялась над горячей петардой, как пахло теплыми волосами от маминой плойки, и конфеты танцевали в хрустальной вазочке, и хвоя терялась в ковре. Какая ты стала, Наташа, после этого? Что стало с твоими точными пальцами? Нужно разглядеть тебя – сквозь очки, пристально разглядеть.

Наташа толкалась у гардероба в водовороте холодных шуб, перекрикивалась с подругами веселым голосом с начинающейся взрослеющей хрипотцой, наглым голосом человека, который растёт.

– Марта твоя – сумасшедшая! Марта Пароходовна!

– Моя мама училась у нее, и тетя, и брат, она всех заставляла играть одно и то же.

– Не повезло тебе, Наташка, мне в прошлом году целый год пришлось играть, ужасно скучно.

– У нее ноты заколдованные!

– Ира из хорового говорила, что ей сестра говорила, что она ведьма!

– Кто ведьма?

– Марта! У нее глаза стеклянные, она ни с кем не общается!

– Зато она учит хорошо. Она очень строгая!

Наташа хватала из рук гардеробщицы поцарапанный прозрачный номерок, бежала вверх по мраморной лестнице с кривой ковровой дорожкой, пинала унтами держалки по бокам, скользила пластмассовой папкой по перилам. Дверь в кабинет уже была приоткрыта, уже пестрела узором линолеума внутренность его, как внутренняя обивка музыкальной шкатулки, уже пахло оттуда чем-то знакомым, приглашая войти Наташу, чтобы она разбудила первым вздрогом клавиш застоявшуюся зимнюю тишину школы. Чтобы она первая, кашлянув, окунула пальцы в звучащую воду, тронула ее шепоткой, боязливо, проверила на прочность, а потом бросилась бы туда вся, целиком, в шерстяном платье и теплых рейтузах, чтобы руки ее ушли в клавиатуру по локоть и нашли бы там, в журчащей и перестукивающейся глубине, ключ, код, отгадку к какой-то небесной тайне. И Наташа вошла в приоткрытую дверь, улыбаясь. Марта Георгиевна уже стояла, ожидая ее, протягивая в радостной руке заждавшиеся партитуры.

– Здравствуйте, Марта Георгиевна! – сказала Наташа.

– Здравствуй, Наташа. Как у нас с тобой дела? – сразу же спросила Марта Георгиевна жадно, как будто пытаясь вытянуть из нее все то, чем она жила все каникулы, все ее веселье и забывчивость, как если бы это был яд, застоявшийся в Наташиной ране. Где та рана у нее – жажда дышать, и бегать, и не прикасаться к инструменту неделями, ее смеющееся сердце, непослушные пальцы, выбившаяся из косы прядь, узорчатая тень от этой пряди на щеке?

– Нормально, – грустно ответила Наташа, послушно давая себя отеснить поближе к протертой вертлявой табуреточке, принимая из рук учительницы тяжелую кипу нот. Край твердой папки больно уткнулся в живот, Марта стояла рядом, шерстяная, прохладная и беспощадная.

Долго играли гаммы, Наташа вздыхала, кончики пальцев противно влажнели, стыли, соскальзывали. Это продлится еще недолго, совсем недолго – в мае у Наташи выпускной экзамен. Волнуясь и спотыкаясь, она проиграла три произведения, заданные на дом, а когда дело дошло до четвертого, вскинулась глазами на Марту, стоящую за левым ее плечом. Она стояла, скрестив руки на груди, и верхний краешек губы ее зло дергался.

– И ты хочешь мне сказать, что таких учеников выпускает наша школа? – слова застре-вали между сведенными зубами Марты, уплощались из-за ее прижатого к небу языка и вытекали изо рта бесформенные и злые, как фарш гремучей змеи. Она не дала доиграть Наташе до конца, сильно дернула ее за тоненький локоть, столкнув с табурета. Наташа чуть не упала и тотчас же сжала зубы и очерствела лицом. «Ну вот, опять начала. Она готова терпеть все что угодно, но как дело доходит до „Парохода“, она начинает сходить с ума от злости», – думала Наташа, глядя из-под сведенных бровей, как Марта Георгиевна садится на ее место и быстро, ожесточенно начинает играть с начала. На стиснутых скулах ее ходят желваки, и губы дергаются, и ногти бешено стучат по выщербленным сотней пальцев клавишам. Она играет и играет эту свою четвертую чертову пьесу, будто сорвавшись с цепи, играет все громче и громче, выкрикивая Наташе:

– Вот как нужно, никаких нот, никуда не смотри, руки сами! Вот! Вот как! Нужно!

Время урока заканчивается, и Наташа выбегает из кабинета, с трудом сдерживая кипящие внутри лица слезы. Она не заслужила такого гнева, всего лишь неважно сыграла заданное, это бывает, это случается с каждым, кто чему-то учится. Если на всех будут смотреть два таких коричневых глаза, толсто и дрожаще подведенных, в свалывшейся туши ресницах, если они будут смотреть так, как будто Наташа только что разбила им жизнь, и если такие длинные, сухие, неприветливые руки будут держать ее за плечи, как держат те, которым больно, как держат тех, кто пришел их навестить. Как будто Наташа пришла в больницу к очень больной учительнице и там что-то сделала совсем не так, как ожидалось. Такое было чувство, и солнце уже не радовало, и не хотелось прыгать на раскладных креслах, стоящих в коридоре, чтобы они стучали глухо, и смотреть в приоткрытую дверь за мальчиками-балеринами в черных трико, и подниматься на четвертый этаж, где большие окна, и дети рисуют статуи, коней и вазы с фруктами, и длинные тоненькие цветы выются по батареям, и ширмы поставлены в холле на паркете.

Ширмы, обтянутые холстом. Булавочками туда прикалывают особенно хорошие рисунки.

Но Наташа не умеет рисовать, ее умение нельзя приколоть булавочкой. Она сжимает пальцы – свое умение, и гудит внутри пронзительный голос Марты, и повторяется минорная мелодия ее четвертой пьесы – маленький блюз «Белый пароход». Наташа садится на раскладное кресло и представляет, как тот пароход раскалывается на две части и гибнет в черном маслянистом море, в густом и неприятном море. Нет, он не виноват, бедный пароход, виновата Марта, что так всем надоела. Она должна понимать, что в своем чувстве прекрасного зашла слишком далеко. Наташа вспоминала, сколько лет уже Марта преподает в музыкальной школе, если еще Наташина мама ходила девочкой к ней и играла этот же самый «Белый пароход», и не только мама, все в их маленьком городе, кого в детстве родители решили отдать в единственную в этом заснеженном пространстве «Школу искусств», как было написано на золоченой вывеске у входа, кто попадал к Марте Георгиевне в класс, все и всегда играли «Белый пароход» несколько лет подряд и именно этой пьесой завершали программу на выпускном экзамене. Как будто ставили точку в Мартиной странной душе, тоскливо звенел последний аккорд «Парохода», и Марта расставалась со своим учеником. Из-за этого ее считали немного сумасшедшей. Еще бы – двадцать с лишним лет каждый день долбить одну и ту же пьесу весной, зимой и осенью, слышать ее из всех окон, выползающую из-под неумелых детских пальцев, окружить себя одной мелодией и каждый раз – каждый раз в упоении закрывать продолговатые глаза и как будто падать куда-то, в свою не понятную никому радость. Основную программу Марта меняла часто – что только не играли ее ученики, им всегда предоставлялся выбор. Она была хорошим педагогом, строгая, прямая и узловатая, как поднятый в небо указательный палец, нависала она над своим подопечным и учила, учила, учила. Так, чтобы всю жизнь потом помнили пальцы свой разбег, чтобы ноты с листа летели сразу в пространство быстрой, упрямой мелодией.

И сейчас, когда Наташа выбежала из кабинета, Марта так и осталась сидеть у фортепиано, и пальцы сами, будто о чем-то прося, заиграли эту мелодию. Лицо ее сразу разгладилось, расправилось от гнева и стало почти красивым, сильным, ни на что не годным, удивленным, возвышенным. Все говорили – она родинку у губ рисует сама, а у нее родинка – настоящая. Дрожит, плачет на лице Марты эта родинка и вспоминает, как украшала ее когда-то. Ее длинные ногти стучат по клавишам громче самой музыки, Марта как будто специально играет ногтями, боясь притронуться пальцем, плотью к раскаленной кости клавиатуры. Прикоснувшись, она закричала бы от боли, так разгораются клавиши в ее стремительной, почти безумной игре. Марта обидела сейчас девочку, была несправедлива, нельзя больше так делать, нужно держать себя в руках, даже когда кусают за самое важное в ее придуманном мире, когда ошибаются там, где никогда нельзя ошибаться, иначе рухнет вся гармония, весь ритм, вся грусть упадет, растает, станет глупой и непонятной. Марта Георгиевна представила, как Наташа подкрадывается

сзади и маленькими белыми зубками впивается ей в правую руку, как кости трещат в крепкой челюсти юности, как воспоминания рушатся и кричат, задавленные рвущейся вперед новой жизнью. Она закрывает глаза и продолжает играть, это самый красивый момент, как будто по маленькому цветку распускается у основания каждого пальца, как будто всех этих лет не было и она не делала разных глупых вещей, не хваталась за все это, как за последнюю веревочку, брошенную в пропасть. Не было этих лет, не было этой мелодии, каждый день раздирающей ей что-то под блузкой, не было косых взглядов и одинокой квартиры, спящей внутри многоэтажного дома. Было что-то другое, похожее на цветы, на прыжок речной рыбы из рук обратно в воду, на быструю ходьбу по свежему, еще дымящемуся асфальту, похожее на того, чьей фотографии не осталось, даже фотографии не осталось.

Марта оборвала игру, резко встала и долго стояла, глядя на свое отражение в крышке пианино. Стояла и смотрела. А потом очнулась, привычной рукой провела по волосам, по юбке, посмотрела на часы – до прихода ученика еще двадцать минут – и села к окну заниматься делом всех учительниц музыки в этом городе – вышивать декоративные украшения для унтов, билэ. У каждой в кабинете был специальный уголок для этого – стул под лампой, коробка с баночками из-под фотопленки, где хранился разноцветный бисер, мешочек с войлоком и фетром, ножницы, мелки, нитки, тонкие маленькие иглы. На прошлой неделе ей принесли белые женские унты, высокие и узкие, нужно было их украсить обильной вышивкой. Марта уже подобрала цвета – серебряный, белый, темно-синий, красный, черный, прозрачно-голубой. Сухие руки перебирали горстки сверкающего под лампой бисера, она была готова сейчас застыть навсегда, опустив пальцы в маленькое прохладное озеро, закрыла глаза и медленно водила ладонью по бисеру, рассыпанному на столе. Внутри нее всегда звучала музыка, пусть одна и та же, повторяющаяся изо дня в день, как заевшая пластинка, но она звучала всегда, не было тишины внутри, не было самого страшного. Она была так рада этому, она была благодарна. На всю работу у нее всего времени три месяца, тонкая иголка по-птичьи нерешительно двигалась среди сверкающих точек, нужно начать с чего-то: с глухих и темных волн, со спешащего снега, с мачты, скрипящей на диком ветру, с заиндевелых иллюминаторов или с полосатой трубы? Со звезд начать, с пены морской, речной, полной замерших рыб и кусочков травы, полной легких камней и песка, что, подобно бисеру, с легким шорохом взмывается с тихого дна, медленно кружится и дрожит в остывающей глубине. Начать со дна, начать с носа, с трюма, с капитана или с одинокой пассажирки, что так сильно боится воды и дрожит, прижимая шляпку к голове до боли в затылке? Начать вышивать пароход на кусочке темно-синего фетра, один белый пароход на правую ногу, второй белый пароход на левую. Марта улыбнулась в предвкушении, ей смертельно надоело вышивать из года в год одних оленей, снежинки и народные орнаменты. Настала пора для чего-то по-настоящему красивого. Она представила себе эту счастливицу – хозяйку белых унтов, как она, гордая и молодая, идет сквозь дикий мороз, с трудом разлепляя смерзшиеся ресницы, а на каждой ноге у нее сверкает по белому пароходу. Как эти пароходы-близнецы врезаются в туман искрящимися носами, как взмывают его, как побеждают его.

Замечтавшись, она не заметила времени и была разбужена робким стуком ученика в приоткрытую дверь. Мечта о пароходе, все это время будто накрывавшая ее лицо, как прозрачный белый платочек, тотчас же слетела, сдунулась, метнулась куда-то в угол. Лицо Марты стало прежним – строгим, недоуменным, почти осуждающим.

– Войдите, – глухо крикнула она.

Ученик вошел, небольшой, осторожный Вадим, стриженный ежиком, остренький и несчастный. Марта Георгиевна потеплела, увидев его фигурку перед собой. Такой незнающий, просящий, чтобы она его научила, чтобы положила ему на плечи руки, не умеющие быть нежными, чтобы заглянула в глаза, наклонившись, и спросила:

– Ну, Вадик, как у нас дела?

– Нормально, – ответил Вадим. Ему было одиннадцать лет.

– Что я задавала тебе на каникулы, Вадик?

– Менуэт... потом... фугу... еще... гаммы... и «Белый пароход», – забормотал Вадим, бегая глазами по забытому за каникулы унылому кабинету, и внутренне вздыхал, что детство такое длинное, что зима такая холодная, что он сам белый, нескладный, маленький, вынужденный ходить в это огромное зеркальное здание, похожее на глыбу льда, что он такой всем обязанный, перед всеми извиняющийся, всем должный. А еще потом расти, крепчать, добиваться успехов, чтобы мама, пряча болезненные глаза, смеялась в ладони, чтобы папа, неловко держа на руках маленького братика, не качал укоризненно головой.

Вадик знал, что, только когда он вырастет, сможет делать то, что захочет, он будет по-настоящему рад. Он станет бегать сколько угодно по коридору, чесать спину о мохнатый ковер в гостиной, обдирать с елки хвою, пропуская веточки между средним и указательным пальцами, рисовать на доске лошадиные головы. Тогда он заведет себе собаку, нет, даже две, три, четыре собаки. Тогда он выстроит себе другой дом, не похожий на все одинаковые многоэтажные дома вокруг. Не похожий на этот дом, сделанный из множества зеркальных окон, в котором Вадик боязливо садится на протертую табуретку, роется в желтых, удушливо пахнущих нотах, больно цепляясь заусенцами на пальцах о взлохмаченные уголки разных пособий, и щеки еще бесчувственны, еще горят с мороза, а во рту кислится вкус бульона и волоконце мяса дрожит в маленьком зубе.

Он играет плохо, но достаточно хорошо для своего возраста. Бледные пальчики с обкусанными ногтями по-мальчишески неповоротливы, но честолюбивы. Марта стоит за ним и внимательно смотрит. Она удовлетворена. В завершение они с упоением вместе играют «Белый пароход» – в четыре руки: довольный Вадим играет простенький повторяющийся мотив для левой руки, не менее довольная Марта – сложный, для правой.

После обеда всех учителей созвали на собрание. Они, как строгие пчелы, тихонько вылетали из своих каморок в большой коридор, и после люминесцентных ламп в кабинетах свет здесь казался густым, теплым, медовым. Так, медленно, переговариваясь, с трудом продвигаясь в сладком тяжелом пространстве, учителя сходились из разных уголков здания в большой кабинет директора. Марта Георгиевна тоже шла, прижав к пустой груди журнал, рядом с ней семенила ароматная Нинель, ее соседка по кабинету, толстуха, похожая на нарисованное облако. Когда Марта смотрела, как она играет, на ее малюсенькие пальцы, похожие на колбаски или на унизанных кольцами червячков, они тарабанили по клавишам, и было в этом что-то, отчего Марте становилось неприятно дышать, что-то земноводное, гадливое, копошащееся. И сейчас Марта смотрела на ее подпрыгивающий при ходьбе крашенный локон, и он был похож на чей-то мертвый хвостик. И вся она была, как пухлый восковой цветок, эта Нинель, на ее пористой груди в красных родинках дышали черные воланы платья, и золотой крестик исчезал между грудей, а она все говорила и говорила, но Марта не слышала, а если слышала, то тотчас же забывала и про то, кто куда ездил отдыхать, и про разведенных родителей их общей ученицы, и про знакомых дамочек, вышедших или не вышедших за кого-то замуж. Так, вдвоем, они зашли в кабинет к директору – высокая, всегда будто удивленная и беспощадная Марта и маленькая полная Нинель. Все закивали головами, заулыбались.

Директор посмотрел на них быстро, кивком головы пригласил садиться. Он был странный, этот директор, как будто вечно окутанный каким-то дымком, легким туманцем, непонятно откуда взявшимся в ясном свете ламп, в ясной их коллективной жизни, в этих буднях, он будто плыл, иногда закрывая большие глаза, он был похож на окуня, тяжело и таинственно плывущего сквозь мутный синеватый туман. И что-то в нем было справедливое, сильное, какая-то осанка была в нем, четкий и гибкий стержень был вдет в него. В молодых глазах его был интерес ко всему, что он делает. Он очень любил музыку, очень любил детей. В сущности, Марта Георгиевна думала о нем как о каком-то генерале. Он был велик в этих стенах, Олег Евгеньевич, тяжелый, но хрупкий вождь всех этих несостоявшихся дамочек, он говорил о планах на

семестр, о конкурсах, грантах, о деньгах, о ремонте, о журналах посещений. И они слушали его, подняв головы, моргая поверх очков влажными глазами, стареющие и молодые, несчастные и забывшиеся, уснувшие, замершие, утонувшие, спасшиеся.

– Пожалуйста, останьтесь на два слова, – тихо сказал директор Марте Георгиевне, когда все начали подниматься и выходить.

В сердце у нее быстро что-то произошло, и эта перемена отразилась на ее лице. Удивленная, она осталась сидеть одна за большим прямоугольным столом. Выходившие женщины задевали ее, она вздрагивала и смущенно улыбалась в воздух. Когда директор наконец закрыл дверь, она спросила:

– Это что-то важное? – голос на мгновение изменил ей, взметнулся куда-то, где под ледяным карнизом спали птицы, или эти птицы умерли – у них стеклянные глаза, или бусины, они смотрят лукаво и нежно.

Марта Георгиевна быстро посмотрела – он сидит напротив нее, в теряющемся вдали другом конце стола. Как она посмотрела, мог знать только воздух, только воздух ловил ее взгляды, быстрые, сложные, смазанные, незаметные. Но Олег Евгеньевич поймал ее взгляд первым, он сам удивился этому. Они так сидели – в морозной глубине самого холодного дня самой холодной зимы, в большом зеркальном здании, на разных концах длинного стола – и молчали. Слышно было, как гудят лампы и дышит цветок в кашпо, как за стеной кто-то нажимает одну клавишу на пианино, кто-то смеется, потом бежит. Это дети, они вернулись после обеда, чтобы продолжить свои уроки. Директор встрепенулся вдруг, выпрямил спину и глухо сказал:

– Я, собственно, вот по какому поводу... Я по поводу вашей программы, Марта Георгиевна... То есть, собственно, что? То есть я имею в виду произведения, которые вы отбираете для разбора с учениками... То есть я по поводу вашего материала хотел... – Он вздохнул и еще раз вздохнул, провел кистью руки по высокому лбу и закончил: – Хотел поговорить по поводу вашей программы.

Он не понимал, откуда вдруг волнение пришло в него, какой волной, но он не мог сказать сейчас то, что всегда сурово и быстро умел произнести. Он был хороший директор, ничего не боялся. Но ему было не по себе от глаз этой учительницы, от ее застывшего праздничной грустью лица. Внутри своего существа он ее понимал, не зная тайны Марты, он понимал. Если она двадцать лет заставляет детей играть одно и то же произведение, значит, ее странному неведомому сердцу доставляет удовольствие слушать его бесконечно. Это так просто – удивительно, почему люди этого не понимают. Но родители жалуются, ученики смеются над ней, учительницы шепчутся про неудавшуюся жизнь. Женский коллектив, обычные сложности – всегда находится один, которому никто не боится насмешливо смотреть прямо в лицо, прямо в испуганные непонимающие глаза. Олегу Евгеньевичу нравилась Марта, он считал, что эта слава незаслуженна для нее, и хотел помочь ей, ведь это очень легко – просто заменить надоевший всем «Белый пароход» на какую-то другую пьесу. И Марта сразу же, автоматически становится в верную цветущую нишу, становится в строй к остальным солдатам будней, обвешанный бусами и очками на цепочках, строгие солдаты музыки, женские солдаты, у каждой – длинная и безутешная жизнь. У каждой под сердцем тайна, но могут же они молча жить свои жизни, не давая трогать свою тайну сотням детских пальцев. Убрать тайну, спрятать. Затайтесь, Марта Георгиевна. Это лучше для всех нас, вы станете нормальной, у вас появится подруга, может, вас пригласят даже на день рождения, и вы сможете пригласить кого-то к себе, в свою зеленоватую пещеру, где загадочные бабочки дрожат под потолком, где спят тайны, налитые прозрачным светом, где, сияя, трепещут слезы, скатываясь в ладони. Это лучше и для меня, я смогу избежать комиссии, ведь репертуар проверяют, это всем кажется таким странным, Марта Георгиевна...

Такие мысли вертелись в его голове, но он каким-то странным колдовством не мог прознести ни слова, губы вдруг стали как чужие, и дрожало горло, он говорил совершенно не те слова, какие хотел говорить, и смотрел на нее, и видел, что она не понимает, страдает, боится.

– Вы не бойтесь! – вырвалось у него.

Она молчала.

– Вы не молчите. Ну это же так просто, Марта Георгиевна! Просто замените «Белый пароход» другой пьесой. Вот и все. Вот что я, собственно, хочу. Хорошо?

Она ничего не отвечала, только смотрела, и взгляд ее был направлен куда-то далеко, она уже не слушала его, что он там говорил про комиссию, про человека, проверяющего репертуар, про право каждого выбирать те произведения, которые... А потом, прервав его, она быстро встала, кивнула, взмахнула зачем-то рукой и быстро вышла из кабинета. И уже на пороге слезы вдруг полились из нее, как из перевернутого стакана, она, не оборачиваясь, закрыла дверь и быстро пошла по коридору, сияя отражением ламп в потоках слез на торжественном лице. Страдая, она будто летела, никого не встречая на своем пути, незамеченная, она привычно, автоматически открыла ключом свой кабинет и заперлась в нем изнутри – только щелкнул замок. Дальше последовала тишина – лишь дети играли свои гаммы и приземлялись после прыжка, мягко ударяя носочками о линолеум, и с нежным шорохом тыкались мокрые кисточки в загрунтованные холсты, и карандаши, чуть дрожа, вели свои сероватые бесконечные линии. А Олег Евгеньевич вспоминал последнее ее движение, взмах расслабленной белой руки, замеченный все слова. Что-то было юное, женское, страшное в этом жесте, какой-то жалобный, почти кокетливый призыв и одновременно шутовское отторжение, и слабость, и сила, и странный намек. Так взмахивают на прощание молоденькие студентки, школьницы, недовольные оценкой, девочки, прощающиеся с двоюродными братьями. Так взмахивают рукой одинокие старухи, провожая чужие поезда в города, где когда-то давно сияла их молодость.

После обеда она опять принимала учеников. Свое рукоделие, свои вымышленные пароходы Марта спрятала, накрыла газеткой. Стемнело быстро, стремительно, как прыжком в темную воду, как колпаком накрылось пространство, стеклянным шаром, полупрозрачным, матовым, голубым. Слезы высохли на ее лице, она подкрасилась над маленьким зеркальцем и опять стала как будто каменная. Приходили дети, играли заданные на каникулы пьесы и гаммы, она стояла рядом, отбивала ногтем указательного пальца ритм по крышке пианино и приговаривала: «И раз, два, три, и раз, два, три, не спеши... и раз, два, три, крещендо! Левая рука!» Она слушала музыку, покачивалась, и волосы у нее были гладкие, черные, и глаза, густо подведенные, моргали и плыли, вырастая и дwoясь, по маленькому кабинету. «Белый пароход» дети не играли. Марта обрывала их, судорожно хватая за рукава:

– Хватит! Достаточно. Можешь идти.

Перед последним учеником она встала у окна, достала маленькое круглое зеркальце, чтобы подкрасить губы. За окном падал снег, горели фонари, лаяли собаки, люди возвращались с работы, дыша в темноте и замирая на автобусных остановках, и над всем этим огромный Мартин рот в светящемся круге шевелился, и молчал опять, и опять говорил что-то. Она докрасила губы и внимательно посмотрела в зеркало, а потом вдруг плюнула в него. В ту же секунду в дверь постучался ученик.

– Заходи, открыто, – сказала Марта Георгиевна, вытирая рот ладонью. Весь урок зеркало с плевком лежало на крышке пианино. Юноша, закрыв глаза, играл Третий полонез Шопена. Он был платный ученик, студент-математик, очень талантливый. Марта стояла рядом и улыбалась.

Когда он ушел, Марта села за инструмент и сама сыграла этот полонез. Она играла и таяла от удовольствия, что ее никто не слышит, что она играет неверно, слишком эмоционально, но никому до этого нет дела. Она играла и смотрела в зеркало, поставив его на подставочку для нот. Там отражалась ее стареющая желтоватая шея, в маленьких черных родинках, в глубоких

поперечных складках, ворот простого платья, тонкая цепочка с малахитовой подвеской, острый подбородок и начало нижней губы. Мартино отражение дрожало в маленьком зеркале.

Школа пустела. Музыка продолжала звучать внутри, когда Марта выходила в колючий вечер, закрыв рукавицей свой страдальческий рот. Ее путь лежал через засыпанную снегом площадь, мимо редких фонарей, мимо снега, сверкающего в их свете многоцветно, как сверкают маленькие бриллианты. Она шла, оставляя на свежем снегу смазанные следы, она шла, прижимая к шубе сумку, которая от мороза стала твердой, как будто картонной, она шла и думала: «Сейчас надо где-то взять радость, откуда-то взять радость, сейчас приду домой, придумаю, откуда мне взять радость и покой, и буду радоваться и буду... играть... И не буду думать о том, что произошло сегодня, ничего особенного не произошло, просто никто раньше не говорил вслух, я думала, они не замечают, но они заметили...»

Дом Марты Георгиевны был вытесан из снежной горы, прямоугольный, белый, с желтыми и черными окнами, на длинных облупленных сваях, он не касался животом ледяной земли, будто парил, и люди в нем пели и плакали, прижимаясь к стенам. Она поднималась по обледенным ступеням, пружина тяжелой входной двери визжала, в подъезде был лед, желтые бугры льда и дощечки, ведущие до лестницы. Вокруг было очень темно, и что-то шевелилось, и пахло дурно, сладко, и под потолком спали кошки, закрыв головы хвостами, и смотрели во сне, и растворялись, и превращались в лед. В квартире тоже был кот. Он посмотрел на входящую Марту, понюхал ее унты и стал тереться о стул.

– Проголодался, Маркиз? Сейчас я тебе приготовлю...

Они жили вдвоем в однокомнатной квартире, сумрачной, прохладной, тихой, но взрывавшейся иногда волною неудержимой музыки, и тогда квартира плыла, и Марта плыла, сидя за пианино, и кот плыл, и урчал, и улыбался, розовыми в черных пятнах, губами. Она сняла шубу, унты, шапку и в одних носках мягко прошла в комнату сквозь бордовые шторы с бомбошками, повешенные вместо двери в коридоре. Пианино стояло у окна, парящее, лаковое, как умершая и забальзамированная подруга, и по его крышке скользила брошенная Мартой зеленая кофта, а Марта сидела на краешке дивана и терла лицо ладонями. Она знала, что будет делать сегодня вечером; сквозь гудящую пустоту, как крики с затонувшего парохода, прорывались мысли – накормить кота, поесть самой, принять ванну, поиграть на пианино, включить телевизор... Марта сидела на большом диване, Марта была одна, только кот был рядом – рвал когтями подлокотник и улыбался. Она встала и открыла ему консервы, зацепила вилкой маслянистый рыбный кусочек и положила в рот. Кот запрыгнул на стол, оттолкнул ее руку своим свалывшимся белым телом и начал шумно есть. Марта стояла рядом и смотрела, как он ест, разевая розовую пасть, сверкая белыми клыками, запрокидывая голову, двигая челюстями. Она смотрела, и во взгляде ее было удивление, была брезгливость. Она понимала – кот не любит ее, не любит ее руки, когда они его гладят, он любит еду и тепло и больше ничего. На секунду перед глазами вспыхнула страшная сцена – Марта лежит поперек кухни с простреленной грудью, а кот стоит рядом и лижет лужицу ее крови на полу. Она быстро зажмурилась и тряхнула головой. Было еще много дел, но она придвинула стул, села и стала смотреть, как ест кот, представляя, как бы смотрела, как ест ее муж, наверное, не так, не с таким отвращением, а с надеждой смотрела бы она, и две луны плавали бы в ее почерневших от счастья глазах, плавали, и дрожали, и лились бесконечным светом на скатерть, и муж ел бы и глотал, а она бы смотрела.

Но ее замужеству не суждено было случиться, и виной тому не она, а жестокое мужское сердце, что режет, как бриллиант, что колет, как стекло, вот Мартина кровь вся и вытекла, не один десяток котов могла бы она вскормить своей кровью. Свидетель тому он, белый пароход, пусть он уплывает, гудит и тонет в тумане, пусть последний свидетель сегодня умрет! Она улыбнулась и положила голову на сложенные руки. Кот облизывал банку, она скользила от него по столу, и он шел за нею следом, закрыв глаза от удовольствия. В гудящей тишине, сливающейся с гудящим холодильником, в вечернем, морозном, окраинном танце сидела Марта,

обнимая руками, баюкая свою геометрично стриженную голову, ее жесткие волосы пробивались между пальцев, как старая запутавшаяся трава, оставшаяся под снегом и смотрящая из него. Она вспоминала начало мелодии, начало своей жизни, надежду, которая ничего теперь не обещала, которая ушла, сгорела, как сгорают на кострах памяти старые виниловые пластинки с тяжелыми, страстными танго, с грустными блюзами, с фокстротами и мелодиями в стиле джаз. И тишина, скорбное молчание над потухшим костром, громыхающий холодильник в углу, кухня, выкрашенная зеленой краской до половины, а до половины – выбеленная. Плетеная хлебница, скомканное полотенце с прожженными уголками, руки, обнимающие голову, холодная скатерть под подбородком, и нельзя больше играть, нельзя играть «Белый пароход», нельзя слушать неумелую и прозрачную игру учеников, их детские ласки, их прикосновения к щемящей тайне, их помощь.

Маленькая прозрачная слеза выпала из ее глаза и покатила по руке. И никто не видел эту слезу. И никто не знал ее тайны. И все догадывались. Она сумасшедшая, она несчастная, она одинокая, она наряжается в мужскую одежду и танцует перед окном в ярко освещенной комнате, сама себе подыгрывая на расстроенном пианино, эта ее мелодия, о, эта ее мелодия. Она пляшет, как ополоумевшая, и смеется, и слюна летит у нее изо рта, и на зубах у нее помада, и пахнет от нее нечистым котом, и на свитере у нее катышки, и вульгарная родинка у рта, и глаза открываются и закрываются, быстро моргают, гаснут, умоляют в бездонной тишине, выталкивают по тяжелой слезе и молчат.

Она была молодая – была, как внезапно потемневшее небо, как упавшая в снег лицом, бледная, суровая, удивленная, со строгим каре на иссиня-черных волосах, с подведенными глазами. Она играла на пианино и расцветала, дышала перламутровой грудью. Они танцевали с ним, топтались на ковре у окна, близко друг к другу, и его усы дышали рядом ореховым медом, райскими выдохами, ледяными словами. Они пили мадеру, она и тот летчик, у него в комнате, под широким качающимся абажуром. Он смотрел на нее быстрым золотым глазом, держал в золотой руке тонкую ажурную рюмочку с дрожащим на дне вином, он смотрел и обещался ей навсегда. Он улетал потом на своем самолете, а она играла, и пуговицы платья лопались и отлетали на груди от сильного ее дыхания. Он прилетал обратно, стальной и смелый, в синем форменном кителе, ржаной, каштановый, сильный, сибирский, моложавый, тяжелый, бархатный, злой, томительный. Он вел ее в свою комнату и ставил пластинку, приподнимая иголку мизинцем и опуская ее осторожно, и пластинка вертелась, и звучал «Белый пароход». Они танцевали, медленно отдаваясь своему счастью, как две лодки в воронке черной воды. Она держала руку на его шее, на затылке, закрывала глаза, шерстяной бирюзовый костюм, колючая ткань, каблуки холодных туфель, принесенных с мороза в сумке, тонули в ковре, и качался абажур, бросая на стены круглые, обжигающие тени, дрожащая бахрома, нагретая ткань, скатерть, сползающая до пола, маленькие мандарины, она держала руку на его шее, и таяла, и плыла, а он обещал, обещал, наклоняя ее и наклоняясь к ней, он клялся и умолял, он смотрел и опять не смотрел, быстроглазый, упорный, томительный. Она ждала его, невеста Марта, ждала и играла, ждала и играла.

Он прилетал, и опять все снова – комната, мадера, снег за окном, качающийся абажур, кровать за ширмой и «Белый пароход». Он возил с собой эту пластинку, он тоже был со странностями, он рассказывал ей много историй, он был весь в родинках, и кожа у него была красноватая, будто бы опыленная пылью или медью. Он прилетал и улетал снова, несколько лет она жила, ожидая резкого и всегда пугающего звонка телефона, и потом летела к нему сквозь вечный стальной мороз, сквозь остановившееся время. Он улетал ненадолго, а потом, в один вечер, сказал, что улетает надолго – на Урал.

Марта, бегущая по весеннему мягкому снегу, прижимающая к дубленке подаренную пластинку, наступающая самолет, обнимающая самолет, холодный, огромный, инистый. Она

лежала в снегу и смотрела на белое небо и белого ангела с коричневыми усами, поднимающегося красиво и медленно сквозь танцующий снег, надолго, надолго.

Он обещал ей, взамен ее захлебывающейся жизни, что подарила она ему в той комнате, – свою – устремленную, сильную, долгую, долгую жизнь с ней. Он обещал писать каждый день и осенью вернуться и сыграть свадьбу. Это слово – свадьба – вылетало из-под его усов, как райская птица из райских врат. И она ждала, ждала, и играла, и крутила пластинку, и смотрела, как тает снег, тяжело оседая, как зверино вздыхает, отступая, зима. Он писал ей, и вправду писал, на тетрадных сероватых и рыхлых листочках мягкой шариковой ручкой, так, что слова утопали внутри бумаги, она читала, положив конверт на клавиатуру, отвернувшись на крутящемся табурете к стене с голубыми обоями, читала в комнате с открытым окном и птицами, кричащими вдалеке, в конце бледного теплого неба. Он рассказывал про свои дни, многословно, нежно, сумбурно. Та ее жизнь в начале яркого звенящего северного лета, когда она жила только музыкой, любовью, письмами, вспоминаемая ею жизнь казалась ей пронзительно счастливой, память стерла мелкие штрихи, сгладила неровности, преобразила. Ведомая одним ожиданием, одной надеждой, она замирала у витрины единственного в городе магазина для невест и долго стояла, прижав к груди папку с нотами и будто наслаиваясь собой, своим полупрозрачным отражением на сияющее, неземное, слепящее платье, самое лучшее, выставленное напоказ. И она писала ему про это платье, про вырез, рукав, оборку, как кладут голову на колени к палачу, как заглядывают в глаза снизу вверх. Как жалко, и даже сейчас ее передергивает, как ей себя ту бывает жалко.

Марта вздрогнула, дернула головой, испугалась. Это кот шумно спрыгнул со стола вслед за упавшей банкой, в тишине воспоминаний мягкий удар четырех лап и консервный металлический звон раздались, как пощечина, как удар когтистой лапой или острым краем неровно открытой крышки. Жест, жизнь сладковатая, загибающаяся светлым узором от прикосновения ножа, открывающая одуряюще пахнущую глубину, застывший жир, капельки соленого сока, жадные кошачьи глаза, смотрящие в упор. Теперь Маркиз ел на полу, елозя банкой по коричневому линолеуму. Глаза Марты, похожие на кошачьи, только по-иному кошачьи, не жадные, почти не злые, таинственные, смотрящие всегда как будто сквозь, как будто застывая, как будто недостаточно увлажняясь, высыхая. Грустные, нелюбопытные, стареющие. Глаза Марты наблюдали, медленно моргали, закрывались.

Потом она лежала в комнате, на неразложенном диване, в красной комбинации, как будто шелковой, но не шелковой, искусственной, неприятной, дешевой, с пучком колючих кружев между грудей. Она лежала навзничь с красной гроздью у сердца, с остатками бордового лака на длинных желтоватых ногтях. Она была никому не видимая, никого не ждущая, молчащая. У окна, в углу, тихо бормотал, синел, мигал телевизор.

Крышка пианино была открыта, свитер упал на пол, кот стоял рядом и нюхал его, а за окном была страшная, огромная темнота, она дышала в стекло, настигала, проникала через щели в рамах, через трещины в стенах, как сквозняки, как холод. Но темнота страшнее холода, она сестра холода, старшая сестра. А их мать – одиночество.

Одиночество порождает их всех, бесконечных, неизмеримых, страшных. Хотите узнать об этом – спросите Марту, она вам скажет. От долгого лежания ее тело потеряло способность чувствовать, и она стала прозрачной и маленькой, она будто вспорхнула, влекомая странным потусторонним ветром, вылетела в форточку, в мягкий сияющий квадратик, обитый подушками снега, сделалась как струйка воздуха, с легким присвистом вылетающая из маленьких мокрых губ, она не помнила себя, не знала.

Платье было красивое, с большими ватными плечами, оно треугольником открывало грудь, нежное, невинное, пугливое, блестящее, счастливое. Она не надевала его, но видела через стекло, как надевают другие. На тех девушках, приниженных сбывшейся мечтой – их женихи гуляли неподалеку, попивая пиво, – платье сидело нелепо, смешно, как на мужчинах.

Оно было для нее, которая забывала теперь своего жениха, не могла вспомнить его целиком, помнила только сияющий медный вихрь, но помнила постоянно. Больная, очень больная, смотрела сухими глазами и не понимала. Приходила осень, костровой дымкой затянулись окраины города, утончились и без того тонкие березки, запахло грибами, темнеющей склизкой их кожицей на пальцах, земля стала холодной, и вечерами опять приходила тьма, стремительно, неостановимо, настигая Марту сидящей вполоборота на стуле с газовым платочком в свисающей безжизненной руке, с последним письмом на коленях. Она получила последнее письмо от него давно, два месяца назад, и больше писем не было. Молодая Марта накрывала запрокинутое лицо платочком и сидела так много ночей подряд, возле тихого пианино, не касаясь клавиш, не вспоминая, не желая, не плача. Больше он не писал никогда. Исчез на этом Урале, в небе, полном замерзшей воды, в небе, поднимающемся над желтым горизонтом, он исчез, как исчезают сентябрьские птицы, розовые журавли, аисты, улетающие за океан. Их большие крылатые тени быстро скользят по льдинам и черной воде, по застывшим озерам и молчащим верхушкам сосен, по желтым полям, по растрескавшимся асфальтовым дорогам.

Северной осени почти нет, она, как заиндевельный листик, проносится над снегами, быстрая, холодная, исчезает в ночном снегопаде и умирает за одну ночь, и утром уже все белое, накрытое мягким слепящим снегом, и под ним спит сладкая ягода, маленькие мыши, и русалки застывают в ледяных слитках, закрыв продолговатые глаза. Он не вернулся осенью, не взял ее в жены, осень – время свадеб, считается, что молодые, женившиеся осенью, будут счастливы. Той осенью Марта не вышла замуж и стала несчастной. Она смотрела, как смеются выпившие невесты у вечного огня, как они расплывчато накрашены, покрыты какими-то блестками. Будто завернутые в подарочную сверкающую упаковку, подаренные своим женихам, они бегут с ними к белым «Волгам» с привязанными к капотам куклами. Настигнутые внезапным снегом, ловя белыми руками падающие намокшие прически, разгоряченные, они уносятся на своих «Волгах» куда-то, где превращаются в золотые статуи, в изваяния, где не живут больше, потому что такое счастье невозможно на земле, потому что жизнь – это страдание, это сначала мечта, а потом страдание.

У нее была красивая, горячая программа для поступления в консерваторию, сложная и страстная. Она всю страсть своего маленького тела, своей мятущейся молодой души вылила на клавиши, она играла, пока надеялась, продолжала играть, пока ждала. Но когда ждать стало бессмысленно, она перестала играть. Марта упала лицом на клавиатуру и лежала зажмурившись. Это были ее последние слезы. В то зимнее утро она проснулась другой, молчащей, сухой, отчужденной. Вместе с надеждой на письмо, на возвращение того легчика, на свадьбу, на счастье, вместе со всеми мечтами ушла ее жажда, ее жизнь. Она опустошилась тогда – раз и навсегда. Больше никто никогда не видел ее хохочущей или залитой румянцем. Больше никто ее никогда не видел с мужчиной. Она исчезла тогда, спрятала свое разбитое сердце, задвинула его носком тапочки подальше под пианино.

Тот день она помнила до мелочей, тот день, когда она поняла, что он не вернется. Красивый, белый день. Первый день за много лет, когда ее пальцы не прикоснулись к инструменту.

Она сидела, спрятав горячие ладони между коленей, терпела, сжав зубы. Она знала, – главное, перетерпеть несколько дней, и желание играть спадет. Тишина была будто чугуновой, непривычная, давящая. Ее мать несколько раз заходила в комнату, вытирая руки о фартук, и вопросительно смотрела на Марту.

И сейчас она лежит на своем старом диване и помнит тот взгляд.

– Почему ты не играешь, Марточка?

– Я больше никогда не буду, мама.

Она устроилась в продовольственный магазин, задумчиво вертела ручку кассы длинными, бесконечными, сверкающими пальцами. Сине-белый форменный фартук висел на ней, как тюремная роба, белая шапочка с торчащим колышком бумажных кружев, приколотая неви-

димкой к волосам, сияла на фоне серого кафеля, и сияли тусклые глаза Марты, они сияли таким глубоким несчастьем, таким горем, что невозможно было оставаться. И Марта взлетала и неслась по огромному гулкому магазину, как эхо от женского вскрика, как глубоководный планктон. Вывернутая наизнанку, Марта была похожа на синеватые заросли мха, сверху Марта была похожа на блестящую слезу осы, в профиль Марта была похожа на царицу, упавшую в жерло вулкана.

Как она узнала об этом, непонятно, но узнала ведь. У них была тайная связь, никому о ней не было известно. Ни имени его, ни фамилии. Только огромное, растворенное в воздухе предательское лицо, только слезы, окрашенные оранжевым, и оранжевая вода, почти красная, почти кровавая, но не кровавая, оранжевая, нелепая, смешная. Она узнала от каких-то женских языков, что он женился там, на Урале, и что у него родился ребенок, сын.

В тот день, это было уже год или больше спустя, полузадушенная, немая ее надежда (а вдруг – разбился, умер, взлетел, ожил, выжил, лежит, ноги, руки, бинты, ее имя на рассыхающихся губах, необитаемый остров, военное задание, заиндевевшая дощечка в бескрайнем океане), последняя ее надежда отвернулась от нее и ушла, хромя, виляя больным бедром, разломанная, сумасшедшая, юная, расцарапанная, ушла, и растворилась, и сгнула, и не вернулась никогда больше.

Марта тогда пришла с работы, бросила авоську с фартуком на стул и принялась метаться. Вытряхнула из коробки какие-то туфли, что-то еще, со стуком вывалившееся, и стала кидать в нее все письма, билеты в театр (гигантская люстра грозилась упасть и раздавить блаженным бриллиантовым пламенем то место, где его пальцы сжимали ее запястье, где холодные жемчужины материнских бус тонули в мягкой его щеке), закаменелые кусочки мандариновой кожуры, унесенные скрытно в потной руке – на память. О блаженная, глупая юность, она все готова хранить, что касалось ее золотого счастья, на всех тех пустячках остались следы – мерцающая пыльца, пушистые отпечатки пальцев. И все приходилось вырывать с кровавыми корнями, с тяжким чмокающим звуком, как из трясины, и бросать в коробку, и пластинку с блюзами, где притаился белый пароход, и надрывно трубил, и плакал. Но она была непреклонна. Распахнула дверцы шкафа, выдернула самое красивое свое платье, еще нестиранное с тех времен, еще помнящее его шершавые ладони, его горячие прикосновения, и надела его, прямо поверх простого своего рабочего. Темно-красное, с блестящей нитью, великолепное чехословацкое платье, слишком взрослое для нее, с чужого плеча, оно село нарядным мешком на скрутившиеся рейтузы. Марта посмотрела в зеркальную дверцу шкафа и увидела себя со вспухшими глазами, невиданным бордовым ртом, растерянную и почему-то улыбающуюся. Это был самый лучший, самый искренний праздник в ее жизни. В лесу за домом она пинала сугробы, расчищая место для костра. Спички брякали в кармане пальто, застегнутого как попало. В своем праздничном платье Марта лезла на толстую сосну, выламывая сухие ветки, сбрасывала их вниз, на синий переливающийся снег. Она развела большой неумелый костер, он страшно дымил, дикие горящие сосновые лапы высовывались из него и просили подаяния. Она стояла поодаль, по колено в снегу, прижимала к груди свою коробку и все не решалась.

«Поздравляю тебя», – это были ее слова. Она крикнула их сорвавшимся голосом, задрала голову в темно-синее небо, видное между верхушек сосен. Она крикнула вверх – по привычке. Он же все-таки был летчиком. А потом Марта бросила коробку в огонь. И стояла. Пока горела бумага, дым был белый, светлый, приятный, то горели письма, в последний раз касались ее лица две призрачные дымные руки, быстро гладили, как в церкви – и исчезали вместе с чистым ветром. Но дальше стало невозможно, когда огонь добрался до пластинки и дым стал едкий, желтый, бурый, тяжелый, он валил, как из пасти. Она убежала.

Той ночью, засыпая, Марта пообещала себе, что больше никогда не вспомнит об этом негодяе, разбившем ей сердце. Она спала крепко и долго, и просыпалась иной, и просыпалась много раз, менялась, и жила, и засыпала вновь.

И было бы так всегда, если бы не «Белый пароход», мелодия, завладевшая мыслями, как навязчивое воспоминание. Завтра она придет на работу и запретит своим ученикам играть ее. Это будет завтра. Гадкая, шаловливая, сладенькая мелодия. Тягучая, непрекращающаяся, навязчивая. Она поработила Марту, сделав всю ее жизнь одним лишь воспоминанием. Но такое бывает. Еще не такое бывает.

Помнишь, ты открывал мне двери и играла та же пластинка. Вспомни, вспомни. Твои руки летели ко мне навстречу, как две стрелы, и глаза были направлены прямо в сердце, в самую глубину. Ты говорил: «Я хочу жениться на тебе, Марта».

Играла та же пластинка, та же мелодия. Ты помнишь, когда я приходила к тебе по вечерам, вспомни, вспомни! Пусть разверзнутся над тобой облака забвения, пусть твоя жизнь остановится на мгновение, пусть ты снова увидишь меня – нарядную, разоренную, растерянную, влюбленную, молодую. Ты мог касаться меня, даже при рукопожатии нам казалось, что что-то горит изнутри, ты мог касаться меня под музыку, мы кружились на ковре у окна, у спущенных штор, под качающимся абажуром, мы были тенями, подсвеченными изнутри, мы тлели, мы полыхали, мы смеялись. Помнишь, когда мы смеялись у окна в твоей комнате, играла та же мелодия? Вспомни, вспомни. Это было давно, двадцать, тридцать, миллион лет назад, твой сын, наверное, уже сам стал отцом, твой маленький сын, я качала его на небесах, среди падающих, стремящихся звезд, обливаясь слезами, я кормила его оранжевым молоком. Разрежь меня, и в срезе ты получишь предательство, подкрашенное марганцовкой, в бордовых и сиреневых водянистых разводах, почти прозрачное, незримое – это моя материя, мое мясо, моя плоть, мои дети. Помнишь, когда я уходила из твоей комнаты, когда ты помогал мне надеть шубу и держал мои плечи, помнишь, играла та же мелодия? «Белый пароход»? Та-та-та... та-та-та... та-та... м-м-м...

Марта поднялась с дивана и кружилась по комнате, напевая и улыбаясь, как девушка перед выпускным балом кружится, примеряя праздничное платье. Верхний свет был выключен, горели лишь зеленая настольная лампа и мигающий глаз телевизора. Вечер подходил к концу, кусочек свободного времени, маленькой жизни, затерянной в вечных снегах. Она остановилась и стояла, напевая свою мелодию, и в глазах ее кружился зеленый огонек лампы и отражался поющий кот, и пианино, и сгорбленная спина молодой Марты в ситцевом халате над швейной машинкой. Косынка должна была быть на волосах, гигиена, она работала швеей еще несколько лет. Она так и не поступила в консерваторию. И все зудело внутри, и музыка воспоминания лилась и выливалась иногда, в яркие утра, в темные ночи одиноких горячих слез – она плакала еще много раз, но не помнила никогда об этом наутро. Она плакала во сне. И пальцы становились все тоньше, все горячее. Жадные пальцы, исколотые сломанными иголочками, посиневшие, туго замотанные грубыми нитками, багровые от застоявшейся крови, искушенные, заклеенные кровавым пластырем, завернутые в прозрачный платочек, ее пальчики, ее не исчезнувшая никуда нежность. Она гладила кошек на улице. Она гладила стены домов, почтовые ящики, швейную машинку (приятный черный выгиб в маленьких золотых завитках, прохладная сталь изнутри, укромные ящички). Она гладила свою маму по обвислым щекам, по тяжким морщинкам у шеи, она гладила пианино (матовый след от руки таял быстро, исчезал без следа на его лаковой груди). Она не могла больше терпеть, тишина, молчание ее сердца, это душило ее.

И Марта наконец заиграла. Это был шаг к спасению, жизнь вновь очертилась перед ней, и падающий снег засверкал, луна ласково таяла ночами, и текла по лицу, затекала в приоткрытый рот, и спала там, нежно замерев. Марта таскала пыльные кипы нот из стенового шкафа обратно в комнату, в коротеньком халатике и шлепанцах, с отросшими волосами, пожелтевшая уже, почти немая, она возрождалась теперь, и гладила жадно ладонями желтую рассыпающуюся бумагу, сидела на полу с карандашом, забыв обо всем на свете. Она заиграла. Едва коснувшись голодными пальцами клавиш, она покрылась вся, как сыпью, бриллиантовым налетом, сверка-

ющая, как звезда, она удивленно смотрела на свои руки, и перламутровые волны вылетали из-под них, как ангелы из-под купола церкви, она играла, и из ее большого оленьего глаза медленно текла большая слеза.

Музыка приняла ее, раскрыла свои объятия, привлекла к себе, к своей невесомой огненной груди, поцеловала в голову, нежно прижала ее лицо к небу и не отпускала, и лечила, лечила. Потом Марта устроилась в музыкальную школу, стала учить детей. Она превратилась в стареющую женщину, побыв молодой совсем немного, никто сейчас не поверит, что она была молодой, юной. Кажется, юной она была меньше года. Но она не думала об этом, и пусть все вокруг утверждали обратное. Не молодость звонила внутри нее в свой ржавеющий колокольчик – не переросшая старая девочка с кувшином прогорклого масла в коричневой руке, а любовь, большая, как купол цирка, гулкая, как слово, выкрикнутое в колодец, бездонная, как глаза мучениц. Любовь в огне, несгораемая, стальная, похищенная, навечно уснувшая, не данная Марте за ее труды, за честность, за преданность, за горящее лицо, за остервенение сердца. Любовь, брошенная мимо гнутой стрелой, упавшая неподалеку. Не та, стремительная, свистящая в черном воздухе, не та. Пусть ей не досталась настоящая любовь, она будет беречь свою – упавшую у ног, закисшую, предательскую, хроющую. И совсем не старость ведет Марту к черте ее безумия – как считают другие. И не песенка о том, что молодость прошла, не предоставив своего посланника, прошла и не расплатилась, играет навечно теперь в ее сердце, а песенка про белый пароход, тонущий сахарной точкой в бесконечной глуши, в черноте, про белый пароход, что, надрывно и грустно трубя, уходит за горизонт, за бурлящие ворота океана, в глухую тяжелую ночь, в ничто. Вот песенка ее сердца. И как она вспоминала – каждый аккорд, напевая в ванной и между уроками, – как заказала из Москвы ноты, с трудом, по знакомству, ведь она не знала (вылетело из головы – велика важность) даже имени композитора, как поставила их первый раз на подставочку перед глазами и как глаза ее засияли. Как засияли ее глаза – двумя океанами – черными, бесконечными, застывшими перед бурей, в которых светилось по пароходу, маленькие золотые иллюминаторы, вымпела, мачты, флаги неведомых стран, спасательные круги – бело-красные, картонные, шершавые – дань жестокой бездне, отразившейся в глазах Марты, когда пальцы ее ощупью, дрожа, находили знакомые звуки, как острые куски булыжников, покрытых засохшей пылью. Она вспоминала, но не злилась и не страдала больше – время залечило, запрятало самое обидное, превратило все в радость, доступную лишь прошедшему, лишь памяти, лишь молодости. Она вспоминала, и радость лилась из нее, как из открытой шкатулки, – светлым лучом, музыкой, у которой не было автора, космической музыкой смирения, покорности, памяти и любви, бессмертного волнения, свидания, растянувшегося на целую жизнь.

Город был маленький, уснувший на горле снежной мохнатой рыбы, и все дети этого города, в которых находили музыкальные способности, шли учиться в школу, где работала Марта. И очень многие попадали к ней в ученики. Сколько их прошло сквозь ее решетчатую заботу, узловатые пальцы, нервное сжиманье платка на экзамене, скольким пришлось вздрагивать от удара ее ладони в спину, спотыкаться, подбирая пальцы, как ноги маленьких запутавшихся лошадей на дрожащем льду клавиш. Сколько их ненавидело ее гневный голос и сколько их принимало – каждый раз – из ее длинных печальных рук папку с нотами, в которой среди идеально подобранных пьес, всегда разных, неизменно белел новенький, любовно отпечатанный листочек «Белого парохода». И они учили, и они играли, маленькие, вихрастые, смуглые, как яблочки, беленькие, как песцы, разновозрастные, бесконечные, они играли все, что она им приказывала. Они играли «Белый пароход», все как один, сообща, осторожно сливая время в огромный кувшин ее наслаждения, где оно варилось и выкипало, оставляя на стенках кристаллы того, что должно было быть ее счастьем. Играли и росли, росли и вырастали. Сдавая экзамен, наученным жестом вскидывая ручки над пастью концертного рояля, они отдавали ей последние почести, после классических произведений – всегда и неизменно играя «Белый

пароход». И Марта принимала то, что принадлежало ей по праву, замерев в кресле первого ряда, в полупустом актовом зале, она вся напрягалась, вытягивалась как струна, и дрожащие слезы накалились в ее глазах, и мир ее падал. Другие учителя, сидящие рядом, лишь переглядывались, улыбались, пряча глаза, а Марта сидела, крепко сжав руки в замок, утопив их в натянutoй ткани юбки, и великолепная, убивающая грусть заливала ее с головой, разливалась внутри, проникая внутрь сквозь уши, – жизнь ушла, ушла и не вернется, она закрывала глаза, и мир чернел и исчезал.

Ее ученики вырастали, длиннели, и грубели их пальцы, обрастая кольцами, мозолями, сбрасывая бесчисленные полумесяцы ногтей, ее ученики переставали быть детьми, бегущими в школу, и становились взрослыми, сбавляли шаг, и пятились, и черствели. Но каждый раз, слыша по радио или где-нибудь еще ту мелодию, они вздрагивали, и вспоминали, и смеялись между собой. Так, заболев, Марта заразила тем светом, той болью еще половину города, став учительницей любви, несбыточной и прекрасной. Но им не нравилось, вот в чем загвоздка. Им не нравилось, они жаловались, и директор, взмахнув рябым крылом, распорядился это прекратить.

Телевизор давно лишь шумел, освещая глухую ночь мигающим светом, все спало вокруг, и Марта уснула, ничего не прижимая к груди, только свои озябшие руки, только пустоту и молчание. Она согласилась.

Это не лунный календарь и не солнечные затмения делают дни такими. Это мы делаем дни такими, мы погружаемся, каждый в свое утро, как медленные хмурые аквалангисты, и только лишь немного волнуем тягучую воду вокруг нас, черную бесконечную воду, простирающуюся вглубь, и вдаль, и повсюду. Марта давно привыкла просыпаться раньше рассвета, она привыкла ко многому, и это утро, подкравшееся, как икота после бурных слез, застигло ее подготовленной, занесшей руку над будильником, готовым прозвенеть. Она всегда успевала проснуться раньше на секунду и каждый раз радовалась, выигрывая это маленькое состязание. Марта, привыкшая к слову «когда-то», Марта, проигравшая выигранное, Марта, трясущая игральные кости в сомкнутых ковшиком ладонях, Марта, идущая по следу, Марта-память, Марта-безысходность, Марта-подавание, гордая Марта, опустошенная Марта, решительная, воспаляющаяся. Марта в ванной. Она знала, что это утро не похоже на предыдущие, и, вроде бы должна проснуться новой после вчерашнего решения, она проснулась такой, как всегда. И глаза ее, свежие и молодые, все так же нежно смотрели на пианино, спавшее у окна в узорном оранжевом свете фонаря, тени огромных хлопьев утреннего снега скользили по нему, и по стене, и по ее грустному лицу. Она сидела, обняв колени, на нерасстеленном своем диване, она сидела, положив голову на колени, сидела, склонив голову, она встала и пошла умываться.

Если отмыть Марту до основания, если смыть с нее всю кожу, можно увидеть белые кости, но кроме белых костей можно увидеть и черные. Потому что внутри у нее клавиши. И кто-то играет на ней свою грустную и бесконечную мелодию, срывающуюся иногда в хаос, превращающуюся иногда в тишину. В это утро она смывает с себя кожу и надевает лучший костюм прямо на обнажившиеся сухожилия, на черно-белый остов, покрытый сочащимися артериями, застегивает позолоченные пуговицы прямо над голым сердцем, прямо над пустым зияющим горлом, где бьется и трепещет купол прозрачного фонтана слез. Она расчесывает волосы. Она не будет больше играть «Белый пароход». Она кладет в сумку немного бисера и ниток для обеденного вышивания, очки, ручку, журнал, зеркало, помаду, пудру. Она не будет больше играть «Белый пароход». Она надевает шерстяные носки, а затем унты, она надевает шаль, шапку, шубу и рукавицы. Она берет ключи с гвоздика, вбитого в стену. Она заглядывает в комнату, где стоит пианино, она смотрит и не заходит. Она выходит из дома. Она не будет больше играть «Белый пароход». Никогда.

Цветок, ставший узором, окно, ставшее зеркалом. Глыба льда, ставшая сердцем. Дверь, ставшая входом. Взгляд, ставший адом. Она постучалась в кабинет директора и быстро вошла, не дождавшись ответа.

– Я все поняла, что вы мне вчера говорили. Я сменю репертуар. Подумаю, чем можно заменить... пьесу, про которую вы говорили.

Она запнулась, не смогла произнести главного словосочетания в своей губительной речи, в своем отречении. Олег Евгеньевич, будто поймавший стрелу отчаяния, летящую мимо, вдруг поднял глаза от своих бумаг и посмотрел на Марту. Взгляд, ставший адом.

– Во-первых, сядьте, пожалуйста, Марта Георгиевна.

Марта послушно села в кресло, положив ладонь на клеенчатый подлокотник, она молчала, и глаза ее опять расширялись, росли, и летели по кабинету, прыгая то в сереющие окна и растворяясь там, как в уксусе, то в обитые деревом стены, то в пол. Прозрачные, голографические ее глаза настигали и пугали или вызывали жалость, Олег Евгеньевич сам не мог понять, что они вызывали в нем, он и боялся, и жалел, и грустил, но и смеялся немного, рассудительный и ироничный, он относился с усмешкой ко всем своим подчиненным, такой у него был способ. Но этот случай был другим, он столько лет закрывал на это глаза, Марта ведь была одной из лучших, если не сказать лучшей, в их школе, она учила так, что руки навсегда запоминали ту драгоценную, редкую, легкую манеру игры, которую уже мало где встретишь.

– Так вы говорите, что вы не будете больше предлагать ученикам «Белый пароход»?

– Да.

– Что «да»?

– Я не буду больше предлагать моим ученикам...

– Что предлагать? – Он понимал, что зашел слишком далеко, но уже не мог сдержать улыбку и смотрел на то, как она белеет и становится совсем прозрачной, почти исчезает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.